

КОГДА
МОЛЧАНИЕ
СМЕРТЕЛЬНО



Екатерина Рыкунова

Когда молчание смертельно

<https://litres.ru/74159114>

SelfPub; 2026

Аннотация

Это история одной девушки, чья судьба изменила ход событий в трудное и опасное время. На фоне дворцовых интриг, страха и ожидания она делает выбор, который становится решающим не только для неё самой, но и для целого народа. Это книга о смелости, верности, внутренней силе и о том, как даже один человек способен повлиять на историю. Основано на реальных событиях.

Содержание

Глава	4
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Екатерина Рыкунова

Когда молчание смертельно

Глава

КОГДА МОЛЧАНИЕ СМЕРТЕЛЬНО

«Не всегда видно, как действует рука Божья, но именно она меняет ход событий».

В те дни я еще верила, что молчание может сохранить жизнь.

Я пишу это спустя много лет, когда шум дворца уже давно стих, а лица людей, однажды окружавших меня, стали почти тенями в памяти. Но есть мгновения, которые не уходят. Они живут внутри человека так упорно, будто время не властно над ними. И если я закрываю глаза, то снова вижу тот город — широкий, шумный, блистательный, окруженный камнями

и гордостью, где золото сверкало на солнце, а человеческие сердца нередко были темнее ночи.

Сузы. Даже теперь это слово звучит во мне так, как звучат шаги по мрамору: ровно, холодно и торжественно. Город царей, город указов, город пиров и тревог, город, в котором решались судьбы народов, пока одни спали, а другие ждали за закрытыми дверями. Там стены были высоки, а власть — еще выше. Там украшенные залы могли в одно мгновение стать местом радости, а на следующий день — местом страха. Там человек редко принадлежал сам себе. И все же именно там началась моя история.

Я долго думала, с какого места ее рассказать. С той ли ночи, когда меня привели в дом брата? С того ли часа, когда я впервые поняла, что сиротство может стать не только утратой, но и укрытием? Или с той минуты, когда мое имя, данное мне при рождении, стало опасным, как тайна, которую нельзя произносить вслух? Хотя оно было милым и означало "мирт" или "цветок мирта", разве не прекрасно? Я немного отвлеклась.

Нет. Начинать надо раньше.

Потому что ни одна судьба не возникает внезапно. Она растет незаметно, как корень под землей, а потом однажды поднимает дерево, на котором уже висят и страх, и надежда, и выбор. И если я хочу, чтобы вы увидели мою жизнь ясно, без тумана, я должна вернуться к самому началу — туда, где я еще не знала, что однажды мне придется стоять перед ца-

рем с замиранием сердца и решать не только свою участь, но и участь моего народа.

Я была молода, когда поняла, что жизнь человека может измениться не громом и не мечом, а тихим, почти незаметным поворотом обстоятельств. И все же тогда мне казалось, что мир устроен куда проще. Есть дом, есть наставник, есть дни, похожие друг на друга. Есть обычные заботы, привычные голоса, утренний свет, скользящий по стенам, и вечерняя тишина, в которой слышно, как дышит сердце. Если бы мне сказали тогда, что когда-нибудь меня назовут царицей, я, вероятно, не поверила бы. А если бы мне сказали еще и то, что титул не защитит от страха, я, пожалуй, рассмеялась бы от недоверия.

Но это было бы позже.

Сначала был мир и безопасность. По крайней мере для меня. Я жила под опекой брата, и его имя для меня всегда было больше, чем имя родственника. В нем была твердость. В нем было спокойствие человека, который не обещает легких путей, но знает, как идти, если путь труден. Он не баловал меня пустыми словами. Он не говорил о будущем так, будто оно всегда благосклонно к тем, кто в него верит. И, может быть, именно поэтому я училась смотреть на мир без наивности. Но даже тогда я еще не понимала, как глубоко может прятаться опасность под видом покоя.

Иногда мне кажется, что именно в такие тихие годы человек получает внутренний запас сил на те дни, когда земля

начинает уходить из-под ног. В юности мы редко ценим спокойствие. Нам кажется, что настоящая жизнь — это громкие события, великие встречи, перемены, о которых потом рассказывают другим. Но теперь я знаю: самые важные вещи часто происходят там, где никто не смотрит. Там, где сердце учится терпению. Там, где душа привыкает не кричать, а ждать. Там, где вера становится не украшением речи, а дыханием.

Тогда я не называла это верой в привычном смысле. Я просто жила так, будто за видимым миром есть еще один, более добрый, более справедливый, более настоящий. И если сегодня я говорю о том, что великая сила может открываться в человеческой слабости, то только потому, что сама когда-то оказалась в месте, где слабость перестала быть позором и стала дверью к спасению.

Но я забегаю вперед.

Слишком многое еще не сказано, а правда требует порядка. История не любит, когда ее рвут на куски. Она раскрывается постепенно — как лицо человека, которого вы сначала видите только в полутени, а потом различаете все яснее, пока не узнаете его до последней черты.

Поэтому я начну с того времени, когда мое имя еще было известно лишь немногим; когда я еще не знала ни роскоши, ни власти; когда мое сердце не дрожало при одном слове царя; когда я была просто девушкой, хранящей в себе память о доме, о потерях и о том, что нельзя было терять.

Я начну с начала. И если вы пойдете со мной до конца, вы увидите, насколько невероятными бывают события в жизни человека, который не отказался от живой веры — даже когда все вокруг подталкивало к молчанию, страху и забвению.

————— I —————

Я долго не могла вспоминать свое детство без боли. Не потому, что оно было жестоким — нет, жестокость пришла позже, вместе с потерями, которых я тогда еще не умела называть настоящим горем. Но детство всегда хранит в себе то, что потом хочется беречь, словно тонкий огонь в ладонях. И когда я думаю о доме, где родилась, передо мной встают не стены и не улицы, а руки моей матери, запах хлеба и голоса, которые уже давно умолкли.

Наш дом был беден.

Это я понимала даже тогда, когда была еще слишком мала, чтобы различать цену на рынке или меру зерна в амбаре. Бедность не нуждается в объяснениях: она видна в заштопанных краях одежды, в старой утвари, потемневшей от времени, в том, как мать бережно вырезает из теста последний кусок, чтобы его хватило всем. Наш дом стоял на краю поселения, и по утрам ветер приносил туда запах пыли, сушеной травы и дыма из соседних очагов. Весной он пах влажной землей, а летом — горячими камнями и овцами, которых гнали мимо на пастбище.

Я помню низкую дверь, порог, который нужно было перешагивать осторожно, и маленькое оконце, в которое утром падал свет, будто тонкая струя золота. В углу стояла кровать моих родителей, рядом — грубый стол, несколько глиняных сосудов, корзина с тканью и деревянный сундук, где мать хранила все, что считала дорогим: нитки, иглы, кусок хорошей материи на праздник и маленький мешочек с сушеными травами. Когда в доме становилось совсем тихо, я слышала, как потрескивает фитиль в светильнике и как с улицы доносится крик торговца, зовущего покупателей.

Моя мать была женщиной, которая никогда не сидела без дела.

Даже когда она казалась мне уставшей, ее руки продолжали двигаться с привычной точностью: месили тесто, поправляли ткань, штопали рубаху, перевязывали травы, перебирали зерно. Я любила смотреть, как она работает. Ее пальцы были быстрые, но не суетливые, и в каждом движении было что-то успокаивающее, словно весь дом держался не на стенах, а на ее спокойствии. Иногда она напевала вполголоса, почти шепотом, чтобы не спугнуть утро.

— Гадасса, — говорила она, не поднимая глаз от работы, — не стой на сквозняке. Простудишься.

И я отходила от двери, хотя мне очень хотелось посмотреть на улицу, на деревья на дорогу и на людей, которые проходили мимо. Мне казалось, весь мир живет за порогом нашего дома, а мы — только его маленькая, незаметная часть.

— Мама, а почему у нас нет нового кувшина? — спрашивала я иногда, глядя на трещину в глине.

Она улыбалась устало, но ласково.

— Потому что старый еще служит. А если служит, зачем спешить покупать новый?

Тогда я не понимала, что в этом ответе заключена вся наша жизнь. Мы не имели лишнего, но умели довольствоваться тем, что есть. И, может быть, именно это спасало нас от озлобления.

Отец мой уходил еще до рассвета. Я редко видела, как он собирается на работу, потому что в такие часы я спала, свернувшись под грубым покрывалом, и только сквозь сон слышала его шаги, короткий разговор с матерью и тихий скрип двери. Но иногда я просыпалась от холода и видела его силуэт возле очага. Он сидел, натягивая ремень, и лицо его было еще в полутьме, но я знала каждую его черту: широкие руки, загрубевшие от земли, темные волосы, усталый, но добрый взгляд. Он работал в поле.

Весной — в сырой земле, пахнувшей дождем и корнями. Летом — под беспощадным солнцем, которое выжигало спину и плечи. Осенью — среди тяжелых корзин, полных плодов, и пыли, липнувшей к лицу. Его одежда всегда была испачкана землей, а ногти — темны от работы, как бы он ни старался отмыть их перед вечерней трапезой. Он редко говорил много. Зато, когда брал меня на руки, от него пахло полем, потом и солнцем.

— Ну что, малышка, — говорил он, поднимая меня высоко, — выросла ли ты еще за сегодня?

Я смеялась и цеплялась за его шею.

— Нет, отец. Я но уверенна, что скоро это произойдет и я стану высокой, как ты с мамой.

Он улыбался и садил меня к себе на колени и гладил по голове, поправляя растрепанные волосы.

— Упрямая. — Мама в таких случаях всегда делала вид, что сердится. — Не балуй ее так рано, — говорила она. — А то станет совсем капризной.

Но я видела, что ей приятно. В нашем доме было немного радости, и потому каждая крупица ее была особенно дорога.

У нас были простые дни. Утром мать ставила на огонь кашу или лепешки, иногда варила немного бобов, если они оставались с прошлого дня. Запах хлеба был самым уютным запахом моего детства. Он поднимался от глиняной печи, смешиваясь с дымом, и разливался по дому так, что даже стены, казалось, становились теплее. Я часто сидела рядом, поджав ноги, и ждала, когда мать даст мне первый кусочек.

— Не трогай, горячо, — предупреждала она.

— Я подую.

— Подуешь — и все равно обожжешься.

— Тогда я буду терпеть.

Она смеялась тихо, почти беззвучно. Иногда, когда работы было немного меньше, она брала в руки иглу и садилась у окна. Я любила это время. Солнечный свет ложился на ее во-

лосы, ткань мягко шуршала в пальцах, и мне казалось, будто весь мир замедляется. Я садилась рядом на полу и смотрела, как из простого куска материи рождается рукав, подол, маленькая заплатка на мою рубашку. От матери всегда исходил запах муки, пряжи и сухих трав. Этот запах я помню до сих пор. Он был запахом дома.

— Мама, почему ты все время шьешь? — спрашивала я.

— Потому что ткань рвется, а если не зашить — станет хуже.

— А жизнь тоже можно зашить?

Она на мгновение останавливалась и смотрела на меня.

— Иногда, — отвечала она после паузы. — Но не все порванное удастся вернуть как прежде.

Я тогда не понимала ее слов. Но теперь думаю, что она знала о жизни больше, чем я могла предположить.

В те дни мне казалось, что отец всегда будет возвращаться с поля, а мать всегда будет ждать его у очага. Мне казалось, что бедность — это просто одно из названий нашего быта, но не беда. Что за порогом дома всегда будет утро, а за утром — вечер. Что у людей, которых я люблю, есть запас времени, такой же прочный, как стены нашего скромного жилища. Детям свойственно думать, будто мир устроен так же надежно и не поколебимо, как основание земли.

Но однажды я увидела, как отец вернулся раньше обычного.

Он вошел не один, а вместе с тенью усталости, которая

будто шла впереди него. Лицо его было серым от пыли, а в глазах стояло то особенное выражение, которое я тогда еще не знала, как назвать. Мать поднялась и вышла ему навстречу, вытирая руки о передник.

— Ты рано, — сказала она.

Он только кивнул.

— День плохой? — спросила она уже тише.

Он посмотрел на меня, потом на нее. — Плохой не день, — ответил он. — Плохие вести.

Я не поняла этих слов. Но воздух в доме вдруг стал тяжелее. Даже свет будто потускнел. Мать опустила руки, и я впервые увидела, как дрогнули ее пальцы.

— Что случилось?

Отец молчал слишком долго. Потом сел у стола, словно ноги его больше не держали.

— Надо будет переждать, — сказал он наконец. — И молиться, чтобы беда миновала.

Я запомнила не сами слова, а то, как мать в тот вечер долго не прикасалась к еде, а потом, когда думала, что я не вижу, тихо плакала, отвернувшись к стене. Тогда я впервые поняла: взрослые тоже боятся.

В нашем доме стало как будто теснее, хотя ничего не изменилось. Снаружи продолжал шуметь мир, в печи потрескивали дрова, а в углу лежала незаконченная рубашка. Но я уже чувствовала: в дом вошло нечто, чему нет места среди детских игр и запаха лепешек. Я не знала тогда, что это толь-

ко начало. Что за первой тенью придут и другие. Что детство может закончиться не объявлением и не прощанием, а внезапной пустотой там, где еще вчера звучал знакомый голос.

И все же я помню тот вечер ясно. Мать посадила меня рядом, погладила по голове и долго не отпускала мою руку. Отец сидел молча, глядя в огонь.

— Гадасса, — сказала мать, — если когда-нибудь станет страшно, помни: человек не всегда может изменить то, что с ним случается. Но он может не потерять себя.

Я не поняла этого, но кивнула, потому что в голосе ее было что-то такое, чему нельзя было не доверять. И на удивление, эти слова врезались в мою память и я их слышу у себя в голове не голосом до сих пор.

Теперь, когда я вспоминаю тот дом, мне кажется, что все самое важное уже тогда начало подниматься из тишины. Бедность, труд, любовь, страх, молитва — все это жило с нами, не называя себя. А потом жизнь сделала свой первый жест, и началась дорога, на которой я потеряла гораздо больше, чем могла тогда вообразить.

Но это будет потом.

А тогда я еще была просто девочкой, которая любила смотреть, как мать шьет у окна, как отец возвращается с поля, и как в маленьком доме, пахнущем хлебом и дымом, можно было на миг забыть, что мир огромен и непредсказуем.

В детстве мне казалось, что мир складывается из повторений. Солнце вставало над крышами, мать зажигала огонь, отец уходил в поле, я помогала по дому, а потом выбегала на улицу, где уже ждали другие дети. День за днем, словно кто-то невидимый разворачивал перед нами одну и ту же ткань, только с новыми узорами света и тени. Тогда я не понимала, что именно в этой кажущейся повторяемости и прячется хрупкость жизни, но это и делает ее такой прекрасной.

Я любила раннее утро. Когда воздух еще не был раскален, когда по земле тянуло прохладой, а из очагов уже поднимался запах дыма, я просыпалась раньше, чем успевала открыться дверь. Мать вставала затемно. Иногда я слышала, как она тихо ступает по полу, как ставит кувшин, как шуршит тканью, наклоняясь над очагом. Ее движения были для меня знаком тишины и безопасности.

— Проснулась? — спрашивала она, замечая, что я поднимаюсь на постели.

Я кивала и терла глаза.

— Подойди, помоги мне.

И я подходила, еще сонная, но довольная тем, что меня зовут не просто смотреть, а участвовать. Мне нравилось чувствовать себя нужной. Я подносила сухие ветки, держала чашку, пока она наливала воду, перебирала зерно, выбирая из него мелкие камешки. Иногда мне поручали резать зелень

для похлебки, и я старалась делать это важно, как взрослая, хотя лезвие ножа казалось мне слишком большим для моих детских рук.

— Осторожно, — говорила мать. — Не торопись. В руках нужна не сила, а внимательность. Я запоминала ее слова не сразу, но они словно оседали внутри меня, как пыль на старой ткани.

Потом, когда домашняя работа была сделана, я выбегала наружу. Улица встречала меня шумом, солнцем и запахами, которые никогда не были одинаковыми. Иногда это был аромат свежего хлеба из соседнего дома, иногда — навоза, пыли и жареного лука, иногда — влажной земли после ночной росы. Я знала почти всех детей в нашем квартале. Мы играли в простые игры: бегали наперегонки, прятались за каменными оградами, катали деревянные обручи, собирали гладкие камешки и считали их сокровищами.

— Ты опять выигрываешь, — сердито говорил мне один мальчик, запыхавшись после бега.

— Потому что я бегу быстрее, — отвечала я с важностью, хотя сама еле сдерживалась чтоб не засмеяться, видя как он злится.

— Не потому, что быстрее, а потому, что хитрее, — вмешивалась девочка с заплетенными в две косы волосами. — Ты всегда бегаешь через эти камни, а мы их сторонимся, не хочется снова на них падать.

Я тогда только пожимала плечами. Мне нравилось бегать

так, чтобы ветер бил в лицо, и чувствовать, как сердце колотится от радости и активных игр, даже если это стоило разбитых коленей и поцарапанным локтей.

Бывали дни, когда мы играли в маленьких двориках, где сушилось белье и лежали связки трав. А были дни, когда мы уходили дальше, к пыльной дороге, и смотрели, как мимо проходят взрослые: торговцы с корзинами, женщины с кувшинами, старики, опирающиеся на палки. Иногда кто-то из них бросал нам финик или сушеную ягоду, и это казалось нам настоящим праздником.

Но я всегда возвращалась домой до заката. Мать не любила, когда я задерживалась. Не потому, что была суровой. Просто она умела чувствовать, когда свет начинает меняться, а с ним меняется и настроение дома.

— Дома как-то пусто становится, когда садится солнце, а ребенка нет, ведь пока занят, ты это практически не замечаешь — говорила она. — Возвращайся вовремя.

И я возвращалась. Иногда я находила ее у окна, где она нарезала фрукты чтобы высушить их на солнце. Иногда — у очага, помешивающую похлебку. Иногда — рядом с отцом, который после работы сидел молча и потирал ладони покрытые пылью и мозолями. Они были усталыми, но в их усталости не было ожесточения. Мне казалось, что так и должно быть: отец устает на поле, мать устает в доме, а я расту между ними, как молодой росток в теплых лучах солнышка.

В те годы я еще не понимала, сколько труда стоит этот

покой. Однажды я спросила мать:

— Почему ты всегда работаешь?

Она не сразу ответила. Сначала вытерла руки о передник, потом посмотрела в окно, словно там был ответ.

— Потому что если не работать, дом распадется, — сказала она. — А если распадется дом, распадется и наша семья.

— А семью можно скрепить?

Она улыбнулась, хотя глаза ее остались серьезными.

— Иногда — молитвой и стараниями, какие только имеешь. Но это очень сложно и порою становится невозможно.

Слово "молитва" я слышала часто, но тогда оно еще не было для меня ясным. Молитва жила рядом с нами, как огонь в очаге, как хлеб на столе, как вечерняя тень на стене. Мать шептала слова, когда думала, что я не слушаю. Отец молчал дольше, чем говорил, но перед сном он тоже склонял голову. Я плохо осознавала, к кому именно они обращаются, но чувствовала, что это не просто привычка. В их тишине было что-то глубже страха.

Я пыталась повторять за ними. Когда становилось темно и дом засыпал, я садилась на своей постели и шептала в пустоту те немногие слова, которые слышала и учила у родителей. Иногда это были обрывки просьб, иногда — благодарность за день, иногда просто немое желание, чтобы все, кого я люблю, остались рядом завтра. Мне казалось, что если я скажу достаточно тихо и правильно, то кто-то услышит.

Но часто я не знала, как говорить. Я поднимала глаза к

темному потолку и чувствовала себя маленькой и беспомощной. Тогда я просто молчала. И именно тогда, в молчании, у меня впервые родилось странное ощущение, будто над домом есть Кто-то, кто знает нас лучше, чем мы сами. Это чувство было еще не верой, но уже и не простым детским воображением. Оно приходило, когда ветер гудел в щелях, а отец задерживался на поле дольше обычного, и я лежала, не засыпая, тревожась без причины.

Иногда отец приносил с поля немного лишнего зерна, и мы радовались, как будто нас одарили сокровищем. Иногда мне позволяли помочь месить тесто, и мои руки, слишком маленькие и неумелые, утопали в теплой липкой массе. Я смеялась, пачкала лицо мукой, а мать качала головой и улыбалась.

— Из тебя будет либо хорошая хозяйка, либо очень упрямая женщина, — говорила она.

— А разве нельзя и то и другое сразу?

Она снова улыбалась. В те минуты я была уверена, что счастье — это просто продолжение обычного дня.

Потом настал тот день.

Утро началось как всегда. Мать рано поднялась, развела огонь, поставила воду, а я, еще не до конца проснувшись, сидела у стены и следила за ее движениями. Отец ушел на поле раньше обычного. Он задержался только на пороге, посмотрел на нас обоих и сказал:

— К вечеру вернусь пораньше.

— Возвращайся, — ответила мать.

Он кивнул и исчез за дверью. Я помню, что день тянулся странно долго. Воздух стоял тяжелый, неподвижный. Даже птицы кричали как будто реже. Мать шила у окна, но несколько раз откладывала иглу и прислушивалась к чему-то, что я не слышала. Я занималась мелкой работой: перетирала зерно, складывала ткань, подавала ей нитки.

— Ты сегодня тихая, — сказала она мне.

— Ты тоже молчишь весь день и грустишь

— Я думаю.

— О чем?

Она не ответила сразу.

— О том, что иногда сердце узнает беду раньше, чем уши.

Я тогда не поняла, почему она сказала это так тихо. А потом улица переменялась. Сначала донеслись голоса. Не обычные, не разговорные, а резкие, тревожные. Потом кто-то пробежал мимо нашего дома, и я услышала, как соседка вскрикнула за оградой. Мать встала так быстро, что уронила ткань.

— Оставайся здесь, — сказала она мне и пошла к двери.

Но я, конечно, не осталась. Я вышла за ней следом и увидела людей, которые шли с поля. Они шли не так, как обычно возвращаются работники: не усталой цепочкой, не переговариваясь о дне, а быстро, с перекошенными лицами, словно за ними гналась сама беда. Один мужчина держался за бок. Другой кричал что-то о пыли, о скачущих людях, о том, что

все произошло слишком стремительно. Я не сразу поняла смысл, но уже почувствовала, как у меня начинает биться быстро сердце, но это было не приятно, не как от бега. А так, что начиналась небольшая дрожь, как будто ждешь чего-то страшного.

— Где мой муж? — спросила мать у одного из них.

Тот опустил глаза.

— Он был на дальнем участке... там началась давка... мы не успели...

Слова как будто были где-то далеко и звучали, как из колодца. Мать побледнела. Казалось, она на мгновение перестала дышать. Закрыв рот рукой, она только посмотрела в сторону поля, куда указал ей мужчина.

— Нет, — сказала она почти шепотом.

Кто-то еще подошел ближе, потом еще один. Все говорили наперебой, и из их слов я выхватывала только отдельные обломки: несчастье, обвал, лошади, камни, крики. Я видела лица людей и уже понимала без слов, что случилось неправимое.

Мать сделала шаг назад, словно земля под ней внезапно стала куда-то проваливаться.

— Нет, — повторила она уже громче. — Нет...

Я бросилась к ней и схватила за руку. Она была ледяная.

Потом кто-то принес весть о втором ударе. В суматохе, в страхе, в этом неожиданном переполохе еще одна беда настигла нас слишком быстро. Мать, ослабевшая от первого из-

вестия, поспешила туда, где еще можно было что-то узнать, и я осталась стоять у порога, пока мир вокруг рушился. Я помню только обрывки: ее лицо, бледное, как полотно; чужие руки, поддерживающие ее; резкий запах пота, пыли и страха; и голос, чей-то чужой голос, говорящий слишком медленно, будто от этого слова станут менее жестокими.

А потом тишина. Не та тишина, которая бывает вечером, не мирная и не ласковая. А другая — пустая, страшная, будто исчезло вокруг всё живое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.